

Максим Горький

# Сторож



Максим Горький

**Сторож**

«Public Domain»

1922

## Горький М.

Сторож / М. Горький — «Public Domain», 1922

«Я – ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжело вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленную в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятся вместе со снегом...»

## Максим Горький

### Сторож

Я – ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжело вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленную в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятся вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега берутся две черные фигуры, – это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся в сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

– Бросьте это, ребята, – говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они – не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Леску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

– Глядите-тко, – как пушки! – задорит и хвастается она. – Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, – третьего?

С нею деловито торгуются молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

– Кацапы, ну, скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сладость, как у меня, падаль песья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильное красивое лицо освещено дерзкими глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, – уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Леску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

– Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Когда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал, и, открыв глаза, – увидел перед собой Леску; она стояла, сунув руки в карман тулупчика, нахмурия брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

– Не бойсь, – не воровать пришла – гуляю!

По звездам – было уже далеко за полночь.

– Поздновато гуляешь.

– Баба – ночью живет, – ответила Леска, садясь рядом со мной. – Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

– Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

– Не знаю.

– Матерь Божия появилась там, кверху ручки, пишется, а младенец Христос – в подоле у ней...

– Абалацк...

– Где он?

– На Урале где-то, или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

– Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А, пожалуй, надо итти.

– Зачем?

– Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей... Покурить есть?

Закурив – предупредила:

– Казакам – не говори, гляди, что курю, – у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе – женщина перекрестилась, говоря:

– Упокой Господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, – в светлые ночи, али в темные? Мне – в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

– Давай – побалуемся?

А когда я отказался – добавила равнодушно:

– Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве – ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.

– Это – от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово «человек» – оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

– Я не виноватая; говорится: так сделал Бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянувшись.

– Пойду к начальнику...

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

– Скушно, человек...

Мне в ту пору была непонятна «скука» людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пустоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый длиннорукий богатырь, у него выпуклые – рачьи темные глаза, черная борода, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит – чужим голосом – тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он – вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое – и устраивает по ночам на квартире у себя «монашью жизнь». Он – жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят – до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбитейку на черной шапке курчавых волос; таков – он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лисьими глазками распутной женщины, – это очень злой, хитрый,

лживый человек, в городе его прозвали «Актриса»; – является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный, – на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; – приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечешко, превосходный гитарист и гармонист, рябое скуластое лицо его в серых волосах, толстых, как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый – ярко-синий – глаз: дьякона так и зовут «Краденый глаз».

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними – Леска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной, вилоквой капустой, – среди всей этой благостыни блестит четверть водки. – Петровский и друзья его, почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стойки, – в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир; крестится дьякон, – нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют – дивно. Петровский – тенором, Степахин – густейшим мягким басом, у дьякона – хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину, женщины тоже обладают хорошими головами, – особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой; голос Лески криклив, – дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, – только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяния двери отверзи».

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

– Дьякон – плясу! Тихон – делай! Живем!

– Начали! – отзывается дьякон, взмахивая гитарой и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин – пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, но Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, – его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

– Тихон! – богослужбно... Голубчик. Все... Все простится...

А Маслов кружится около них и кричит:

– Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это – опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня.

Леска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон. – Степахин, вытирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

– Из-за плясок этих, в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно – а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как-будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его, пляшет Леска, как безумный неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепеет, мстительно орет:

– Эх-ма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом иступленном весельи нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это – почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел – сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди – талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга иступленной любовью к песне, к пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука, все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

– Пешков, – валяй! – орет он, – он орет, даже когда обнимает женщин, ревет зверем, – это его потребность.

Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, – я «сказываю» песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

– Господи, – взывает дьякон, хватаясь за голову, его маленькие нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно, Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака. Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, – тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.